

В. А. Кошелев

ДРУГАЯ «НАУКА»:
ПУШКИН И «СВЕРХЧУВСТВЕННОЕ»
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Трофимов Е. МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА
ПУШКИНА. — Иваново: ИвГУ, 1999. — 355 с. — 1000 экз.

Эта весьма претенциозно названная книжка о Пушкине, вероятно, не заслуживала бы отдельного разговора, если бы в ней не проявились некоторые современные тенденции, достаточно опасные для будущего нашей «необязательной» науки. «Писать о Пушкине, — начинает автор, — большая дерзость». Относительно пушкинского творчества, отмечает он, в литературоведении «ощущается даже переизбыток толкований, изъяснений, исследований» (с. 4).

Про «переизбыток» — это хорошо, это сильно сказано. К двухсотлетию Пушкина наконец-то мы «избыли» русского гения, а теперь уже «переизбываем»... Это написано в то время, когда идет мучительная работа над новым академическим собранием, необходимость которого была осознана еще полвека назад — и до боли не хватает квалифицированных специалистов, которые бы отважились окунуться в море сложнейших текстологических проблем пушкиноведения. И не хватает приличной справочной литературы — «Пушкинской энциклопедии» (работа над ней тоже не завершена!), библиографии бесчисленных работ о Пушкине за 10 последних лет, справочников типа книги Л.А. Черейского «Пушкин и его окружение», сводных изданий вроде «Пушкин в прижизненной критике» (вышел только один том, блестяще подготовленный коллективом авторов во главе с В.Э. Вацуру и С.А. Фомичевым). Показательно, что к юбилею была наконец осознана необходимость в переиздании очень давнего (аж 1931 г.) «Путеводителя по Пушкину» — он был дважды воспроизведен в разных издательствах... «Путеводитель» этот неполон, в нем масса показательных для своего времени недоговоренностей и неточностей, но другого пока нет.

И при всем том — *переизбыток*... Переизбыток чего? Да того именно, что еще Б.В. Томашевский назвал *народным пушкиноведением*, исходящим из установки, что раз Пушкин — народный поэт, «массовая культура», то и подходить к нему можно «массово»: с «сатанинскими зигзагами» его «непричесанной биографии», с «непрочитанными» гипотезами, с «неразгаданными тайнами и загадками». Крайний предел такого «народного пушкиноведения» — периодически открываемые «тайны» из так называемого «таганрогского архива» поэта, поиски его очередной «утаенной любви», представления якобы утраченного «интимного дневника», многочисленные «сенсационные» публикации, что поэт-де несколько не погибал на дуэли, а сам застрелился... Все это заполонило «юбилейную» атмосферу и оставило впечатление «переизбытка»...

Творение Е. Трофимова, казалось бы, новых «утаенных любовей» и интимных тайн не открывает и внешне остается в рамках интерпретации пушкинского текста. Тем не менее оно представляет собою очень показательное явление.

Сам метод познания — и заглавие книги — объясняется отсылкой к модному и наконец-таки «разрешенному» М. Хайдеггеру: «метафизикой называется теперь познание того, что располагается за сферой чувственного, наука о сверхчувственном и познание сверхчувственного» (с. 26). Каким образом Трофимов собирается «познавать» это «сверхчувственное», он в предисловии утаил — но

из содержания его трактата вполне ясна общая позиция автора: он, Трофимов, принадлежит к тем натурам, которым *свыше дано* ощущать и перелagать в логических категориях это «сверхчувственное», что он и делает, не забываясь при этом такими «мелочами», как доказательство своих утверждений и посылок...

В трактате часто цитируются труды Святых отцов и не совсем «святых» пушкинистов. К последним автор относится весьма избирательно. Он с удовольствием цитирует труды исследователей сравнительно недавних, прежде всего тех, которые высказывали понравившиеся ему идеи; большинство же — классика русского пушкиноведения — его мало интересует. Логика его обращения с этими исследователями (особенно с теми, кто дерзнул высказывать мысли, отличные от трофимовских) очень проста и демонстрирует логику «народного пушкиноведения» в ее чистом виде.

Вот, к примеру, на с. 183: «Ю.М. Лотман полагал, что... (я намеренно пропускаю изложение утверждений Ю.М. Лотмана), однако *на самом деле* это...» Или рядом, на с. 188: «Ю.М. Лотман неосторожно и излишне мягко комментирует ситуацию», в то время как приводимый эпизод «*показывает обратное*». Таких примеров из книги Трофимова можно привести множество: Трофимов действительно уверен, что обладает неким «сверхчувствованием» и «сверхзнанием», которого был лишен «неосторожный» Лотман, и в силу этого «высшего» (сиречь «метафизического») сверхзнания может знать то, что есть «на самом деле» и изрекать истины в конечной инстанции, которые никакому Лотману были недоступны... Ю.М. Лотман, к счастью, уже никогда не прочтет творение Трофимова — но дело даже не в этике. Дело в том сознании собственной абсолютной непогрешимости, которое выказывает совершенного дилетанта и часто встречается опять-таки среди «народных пушкинистов»: они, как правило, не умеют никого слышать, кроме себя.

Трофимов охотно берет на себя роль почти «святоотеческого» советчика и довольно наивно «советует», например, пушкинскому герою Владимиру Ленскому: «Согласиться следовало бы не с фатумом, а с Провидением, подобно Татьяне. Подчиниться не дьяволу, а Всевышнему. Смирение не печалит» (с. 187). Так и ждешь, что этот самый «глупенький» Ленский вот-вот последует этому «метафизическому» совету...

Я вовсе не против работ о Пушкине, представляющих собою неожиданные (порой произвольные) интерпретации текста. Они даже полезны, их начинают даже собирать в специальные сборники (сборник интерпретаций «Моцарта и Сальери»). Я не отрицаю работ о Пушкине, наполненных модной теперь «богословской» направленностью — хотя не вижу в них ничего хорошего: это просто «марксистско-ленинская идеология» навыворот. Но я считаю неприемлемыми такие работы, в которых эта «наоборотная», «эсхатологически-герменевтическая» направленность сочетается с «провидческой» бездоказательностью, принятой в качестве научного принципа. При этом в жертву этой «идеологии» приносится не что иное, как история русской литературы.

Е. Трофимов начинает свои рассуждения как бы «от имени» «русской нации» (с. 5), а следом приводит ряд суждений своих «предшественников», среди которых первый — И.В. Киреевский, автор статьи «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828). До этого времени прижизненная критика о Пушкине была, по мнению Трофимова, «незначительна» (с. 6). Удобно ли напоминать пушкинисту, что существует монументальное издание «Пушкин в прижизненной критике» и что первый том этого издания, в котором собраны *все* критические отзывы о произведениях Пушкина, появившиеся до статьи Киреевского (1820—1827), составляет 527 страниц убористого текста. Ни об одном из русских поэтов критика не высказывалась так бурно и много, как о молодом Пушкине.

Ну это кстати. Самым главным в анализируемой статье Киреевского Трофимов почитает то, что Пушкин в ней разделен «на периоды» в зависимости от «качества идеи» в каждом из периодов. Для Киреевского между тем «главным» являлось нечто иное: указание «объектов подражания» Пушкина в каждом из периодов; Киреевский даже выделял курсивом их названия: *период школы итальянско-французской, отголосок лиры Байрона* и т.д. Не напомнить ли Трофимову, что существует блестящий анализ этой статьи Киреевского, сделанный Ю.В. Манном, анализ гораздо более яркий, четкий и последовательный? Впрочем, как выше сказано, «метафизик» Трофимов умеет слышать только себя и не обременяет себя какими-либо доказательствами.

Вот типичное утверждение из книги Трофимова (наполненной подобными утверждениями): «Пушкин самостью иронии (?) обнажает творческий поиск нового литературного слова. Этой цели служат символические ряды строф. «Три пары стройных женских ног» — это три грации (хариты): Аглая (Сияющая), Евфросина (Благомыслящая) и Фалия (Цветущая). <...> «Две ножки» — образ несчастной любви Аполлона к Дафне» (с. 115). Каких-либо доказательств того, что Пушкин имел в виду именно эти, к античности восходящие образы, Трофимов не приводит, считая, видимо, достаточным обстоятельством то, что он своим «сверхзнанием» увидел именно граций и Дафну...

А меня вот сомнение берет. В черновиках «Онегина» читаю зачеркнутый вариант: «Две пары стройных дамских ног» (VI, 239) — и сразу уходят «символы» этих самых «харит». И никак я не могу взять в толк, почему «две ножки» — это непременно Дафна, которая, как известно, была превращена в дерево: ведь у дерева, как ни крути, всего одна «ножка». И зачем, наконец, отыскивать «символические ряды» в прямых высказываниях? Ведь стиху о «трех парах стройных ног» предшествует утверждение: «...только вряд // Найдете вы в России целой...» Означает ли это, что в целой России нету «харит»? или что-то другое? И куда девать, например, «трех дев красоты прелестной» из «Руслана и Людмилы»? Тоже — «грации»? Но почему тогда эти, ранние, «хариты» выступают служанками злого волшебника Черномора?..

Наблюдений подобной же «ценности» в трактате Трофимова — тьма. Особенно он неравнодушен к «магии чисел» и личному именованию. Строит он эти наблюдения в очень интересной логике. Вот «Евгений Онегин». Именины Татьяны были, естественно, в Татьянин день, 12 января по старому стилю; вызов Онегину на дуэль был послан на другое утро — следовательно, 13-го! Это обстоятельство Трофимов считает решающим и «неоспоримым подтверждением» (с. 185) «дьявольской» сущности Онегина. (То, что вызов послал не Онегин, а Ленский, — это его мало волнует.) Еще от «дьявола» то, что дуэль назначается «на мельнице, причем до рассвета». Относительно «мельницы» я посоветовал бы автору прочесть тонкую работу сотрудника Пушкинского заповедника в Михайловском, имеющего прямое отношение как раз к «мельнице», В.Ю. Козмина, а что касается «рассвета», то, как мы помним, именно Онегин (тракуемый Трофимовым как «сатана», устойчивый жилец «ночи, тьмы» и «мира мертвых», с. 113–114) сам опоздал на дуэль, то бишь «проспал» то время, которое было бы наиболее удобным для его «дьявольских» козней...

«Сущность числового сосложения (?)» волнует автора и в «Пиковой даме» (с. 283–285), и в псевдониме, под которым печатался юноша Пушкин (1... 14–16) — в последнем он видит отражение «магии земных реалий» (с. 267). Е. Трофимов сам себе, наверное, кажется «пионером» в этой области — и не ведает о том, что в Пушкинском кабинете Пушкинского Дома таких вот «счислений», «расчисленных» в последние годы, существует несколько десятков: при «переизбытке» толкований мы не позаботились об издании приличной библиографии. Впрочем, «толковать» — проще...

Но по-настоящему разворачивается автор в истолковании «магии чисел», когда рассматривает письмо Пушкина к Вяземскому от 13 июля 1825 г., в котором поэт сообщает о том, что завершил «Бориса Годунова», и приводит первоначальное заглавие драмы (в рукописи она носит название «Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве» — в этом заглавии Трофимов видит непонятный мне «вызывающий оксюморон», с. 33). В письме этом поставлены еще дата и место; они даны стилизованно под начало XVII в., к которому отнесено действие драмы: «...писал раб Божий Александр Сергеев сын Пушкин в лето 7333 на городище Ворониче». Городище Воронич — реальное городище близ Тригорского, на котором во времена царя Бориса находилось крупное пограничное поселение, а во времена Пушкина — церковь, кладбище и родовая усыпальница Осиповых-Вульф. (Заметим кстати, что один из аргументов автора относительно «дьявольского» начала в образе Ленского заключается в том, что «вектор расположения» его могилы — «влево от селенья» — «отмечает нечто недолжное», то есть от «беса» идущее (с. 190). Так вот: городище Воронич с кладбищем тоже расположено «влево» от усадьбы — и Пушкин, кажется, никогда не находил в этом ничего «недолжного».)

В самой дате «7333 год» Трофимов видит знаменательную символику, достойную его «метафизической поэтики»: «С одной стороны, число три и семь сближаются в значении воскрешения (?), с другой — три, согласно представлениям пифагорейцев и приверженцев Кабалы — первое кубическое число, первое святое число; троекратно умноженное, оно получало особую степень совершенства. «Семь» отмечено связью с небом. Понятно, что возникшие потом в «Пиковой даме» тройка и семерка — не случайность. Вместе с тем 7 — это еще и «седмина» исполнявшаяся; следовательно (?), 333 — как бы превращавшаяся «седмина», действительно половина... от 666, числа зверя, противостоящая воскрешению» (с. 35). Все это рассуждение призвано доказать, что в основе «Бориса Годунова» лежит идея борьбы с «числом зверя» и «антихристом»: «Знак 666 Пушкин усматривает в двух русских лжецарях. Тот же фазис (?) он видит в истории XIX века» (с. 87).

Все это очень забавно, но не имеет никакого отношения к Пушкину, который еще в Лицее (поэма «Тень Фонвизина») осмеивал, например, попытки Державина отыскать «число зверя» в имени Наполеона Бонапарта. А сама дата: 7333 год — это не что иное, как 1825 год (год завершения драмы) в исчислении не «от рождения Христова», а, как и полагалось на Руси до Петра, «от сотворения мира и Адама». Обе даты, между прочим, в пушкинское время указывались в календаре; Пушкину даже не приходилось ничего выдумывать. Выдумывает только Трофимов.

Такого же рода — его наблюдения над «магией имен». Фамилия «Онегин», по его разумению, образована из английского языка: «Оне по-английски *один, единственный*. Этот смысл и несет образ Онегина» (с. 124). (Воспоминания М.В. Юзефовича о том, что Пушкин не знал английского произношения, приведены нехотая: они относятся к 1829 г.; в мае 1823 г., когда в рукописи первой главы возникла фамилия «Онегин», Пушкин еще не занимался английским языком; кроме того, отдельные английские слова в первой главе романа употреблены в правильном произношении: *dandy, spleen* и т.д.; Пушкин должен был знать, как произносится слово *one*.) Фамилия «Ленский», напротив, образована «от немецкого слова, окрашенного поэтической возвышенностью... — *der Lenz* («весна»)» (с. 129), а фамилия «Зарецкий» — это вообще «анаграмма именованья римских императоров — Цезарь» (с. 183).

Трофимов в очередной раз демонстрирует свою невежественность — как в пушкиноведении, так и в ономастике. Давно уже доказано (сводку см. хотя бы в комментарии В.В. Набокова), что перед нами — чисто *литературные* (не

встречавшиеся в действительности) фамилии, придуманные до Пушкина и присутствовавшие до «Онегина»: в комедиях Шаховского, Грибоедова, Жандра, в романе Александра Измайлова «Евгений...» и т.д. Путь образования таких имен (от гидронимов) определен в ономастике (работы В.А. Никонова). Но... Трифонову дано «сверхзнание» — что ж с этим поделаешь?..

Вообще его схема, например, романа «Евгений Онегин», что называется, «проста, как трактор»: здесь изображена борьба «дьявольского» («западного») и «христианского» начал — Онегина и Татьяны. Онегин, соответственно, воплощает начало «дьявольское». Система «метафизических» доказательств «сверхчувствующего» Трофимова последовательна и исчерпывающа и удивительно нелепа с точки зрения любого объективного интерпретатора:

1. В первом своем внутреннем монологе Онегин всуе произносит имя Господне («Но Боже мой, какая скука...») и с уважением — имя черта («Когда же черт возьмет тебя!») (с. 100).

2. Он рифмует в этом монологе те слова, рифмовать которые для Пушкина было недопустимо, ибо они «органически не рифмуются» (?): «занемог» — «не мог», «честных правил» — «заставил» (с. 100).

3. Онегин назван «добрым приятелем», что, по Трофимову, то же самое, что «добрый дьявол» (с. 102).

4. «Символично упоминание о «воле Зевеса», выводящее образ Онегина к античному богу Гермесу (?)» (а этот самый Гермес каким-то не до конца просненным образом связан с «вольными каменщиками»; следовательно, Онегин — «выразитель масонского духа эпохи», с. 102—103).

5. Масонство Онегина подчеркивается и обстоятельствами его воспитания. «Созвучие имени его воспитателя со словом «аббат» (заметим, кстати, что «monseigneur l'Abbe» — это *не имя*, это прямое обращение: «господин аббат», ибо аббаты в ту пору почитались в России лучшими педагогами. — В.К.) возводит воспитание в рамки европейские, а характеристика «француз убогий» недвусмысленно (!) указывает на дьявола (ср.: l'Abbe — diable)» (с. 104).

6. Онегин назван dandy, а «дендизм — добровольное условие безбожного существования» (с. 105).

7. Он хранит в памяти анекдоты «От Ромула до наших дней...». Трофимов указывает, что в черновиках было «От Кура...», но Пушкину важно было ото-слать читателя не к «древнегреческой», а прямо к «римской» традиции (вероятно, разумея будущую антиномию «иранство» — «кушитство», несколько позднее появившуюся у Хомякова) (с. 106—107).

8. Онегин «читал Адама Смита», то есть воспринимал мир сквозь «ущербную идею» (с. 107), ибо сама семантика имени «Адам Смит» выражает «несочетаемость почвы и цивилизации» (с. 108).

9. «Дьяволизм» Онегина подчеркивается даже «пропущенными строфами» романа «до и после искушающей псевдолюбви» (с. 109).

Далее — в том же духе; скучно даже и приводить. Способ «медленного чтения», который применяет в данном случае автор, «работает» весьма односторонне. Мы прочитали всего 10 страниц его трактата — а сколько «перлов»! И все — при «переизбытке» серьезных исследований.

Вся работа изложена квазинаучным языком, скрывающим многочисленные неувязки и стиливые ляпсусы. Как, например, понять первую фразу, открывающую главку о «Борисе Годунове»: «Чтение Пушкиным Библии и церковных сочинений в корне изменило и русскую литературу XIX века, а, возможно, и русскую историю» (с. 31). Долго я пытался уяснить себе этот пассаж, потом, наконец, дошло, что все нынешние исторические события, включая «перестройку» и все ее замечательные последствия, потому происходят именно так, а не иначе, что Пушкин в свое время читал Библию. Кстати, читал Библию он

не в Михайловском, а раньше, в Лицее — и имел сравнительно неплохие оценки по Закону Божию. Следовательно, современная история должна сказать спасибо прежде всего старшему губернатору Лицея М.С. Пилевичу-Урбановичу, исполнявшему обязанности «отца-законоучителя»...

Или вот такой «метафизический» пассаж: «Идолопоклонство замечено Автором в основаниях человечества — цивилизации, пребывающей поклонившейся кумиру (?), а не Истине и Свету, обреченной на бесовское вращение в вакууме (?): «И вот на чем вертится мир!» Художественное уплотнение (?) в последних двух строках строфы XI букв (?) *ч, е, р, т* проявляет авторскую идею (?): земной мир вступил в сообщение с инфернальным, уступив ему свое подножие» (с. 184—185). После знакомства с такими «метафизическим» способом уловленными «идеями» — и Пушкина читать расхочется...

За этими «высокими» понятиями, повторяю, скрывается элементарное невежество Трофимова как в вопросах пушкиноведения, так и вообще в истории литературы. Вот он, к примеру, демонстрируя свою эрудицию в проблемах текстологии, предварительно объявляет, что собирается интерпретировать «Евгения Онегина», «учитывая авторскую волю 1833 года», которая-де может считаться «финальной точкой в творческой истории произведения» (с. 94). Во-первых, Трофимову, вероятно, неизвестны недавние работы Р.В. Иезуитовой, где она доказала, что основным текстом «Онегина» должен считаться не текст 1833 г., а текст 1836 г. (второго издания, подготовленного поэтом в последние месяцы жизни), имеющий в сравнении с текстом 1833 г. ряд весьма существенных отличий. Во-вторых, если Трофимов принимает для себя установку ограничиться анализом канонического текста, то почему для собственной интерпретации сплошь и рядом использует варианты черновых рукописей? Текстологически это неграмотно...

Более того: почему эти варианты используются «избирательно»? Впрочем, это тоже особенность «народного пушкиноведения» — не видеть очевидного и отсекают «лишнее». Вот опять же пример из Трофимова. На с. 130 он исследует стих, характеризующий Ленского («С душою прямо геттингенской...»), и приводит ряд черновых вариантов этого стиха: «Душою школьник геттингенской...» и др. А самый главный вариант — пропускает: «Душой *филистер* геттингенской...» — именно так было напечатано в отдельном издании второй главы, и это слово вызвало, кстати, ряд критических отзывов (а ныне в пушкинистике это слово комментируется в целом ряде специальных работ Н.К. Телетовой, М.Г. Альтшуллера и др.). Трофимов упускает именно этот «вариант», ибо употребленное Пушкиным словечко никак не соответствует его представлениям о Ленском...

Иногда такой же операции «отсечения» подвергается и канонический текст. Вот тезис Трофимова: «Столкновение между солнцем и тьмой, днем и ночью — конфликтное сопоставление Татьяны и Онегина» (с. 138). Онегин сопровождается образами тьмы, луны, вечерних огней и т.д.; Татьяна, напротив, «солнечна». «Символ круга-солнца» в чем только не отыскивается: в том, что ее отца звали Дмитрий (а «Дмитрий и Адам — от земли», с. 142), в том, что ее родители ели «блины» и любили «круглые качели» (с. 143), — и много в чем еще. Но почему тогда ее родная сестра, Ольга, отцом которой был тот же Дмитрий и которая ела те же «блины», что и Татьяна, символизируется образом луны (с. 138), поскольку «лунный путь служит обману» (с. 150), а Татьяна продолжает нежиться в «солнечных контурах образа»? Кроме того, во множестве работ подчеркивается, что Пушкин постоянно соотносит Татьяну именно с «луной» («Озарена лучом Дианы...» и мн. др.), — Трофимов тоже не может не заметить этого, но тут же отмечает, что в отношении к Татьяне луна «сигнализирует вторжение вражеского начала» (с. 149).

На с. 105 отмечено, что «нехорошее» светское общество вынесло «вердикт об уме Онегина — «комильфо». Нетрудно заметить, что у Пушкина нет ничего подобного — этот «вердикт» выносится как раз не о «демоническом» Онегине, а об «ангельской» и «солнечной» Татьяне: «Она казалась верный снимок // De comme il faut...»

Грустно становится за ту науку, которой я всю жизнь занимаюсь: где еще возможна такая неустойчивость, такая произвольность и такая словесная эквилибристика, могущая заменить и с ходу, без аргументов, отвергнуть все наблюдения предшественников. А может быть, перед нами и не наука вовсе?

Вот Трофимов задается историко-литературным вопросом — какое произведение мировой литературы послужило источником «письма Татьяны» (с. 151—154)? По этому поводу существует множество предположений и сопоставлений, перечисленных в комментариях Бродского, Лотмана, Набокова, Тархова и др., — не менее тридцати гипотез существует... Трофимов все эти гипотезы посылает в одно место — и представляет свою, единственную: литературным источником письма Татьяны (а также, как оказывается, и всего «Онегина») является поэма Томаса Мура «Любовь ангелов». Доказательство может быть сведено к следующему: речь в поэме Мура идет об «ангелах», а Татьяна у Пушкина (по концепции Трофимова) — тоже «ангел»... И дела нет «народному пушкинисту», что этого не может быть хотя бы по элементарным хронологическим и биографическим соображениям: поэма Мура, написанная в 1823 г., была издана лишь два года спустя; Пушкин никогда ее не упоминал и не цитировал. Над письмом Татьяны он работал в конце 1823-го — самом начале 1824 г. (об этом свидетельствует история заполнения «второй масонской тетради», где хранились черновики 3-й главы). И к тому времени он, не знавший английского языка и не знакомый с Т. Муром, просто физически не мог узнать о содержании новой, еще не напечатанной поэмы...

Впрочем, какое дело Трофимову до этих мелочей? Мы уже выяснили, что он руководствуется не знанием, а «сверхзнанием» и «сверхчувством».

Количество примеров, как говорится в таких случаях, можно было бы увеличить почти до бесконечности. Скучно доказывать очевидную нелепость утверждений вроде: «Онегинский тип не имеет места в космосе» (с. 112); «Онегин — ребус, расшифровать какой невозможно» (с. 121); «Валет (в стихе: «Направо ль выпадет валет». — В.К.) символизирует причастность к обществу ищущих Премудрости» и имеет «аналогии с картами Таро», которые «привязывают к беседам и элементы Кабалы» (с. 137). Из этого опуса мы узнаем, что Пушкин прямо-таки ненавидел современные ему танцы: «Мазурка — танец, напоминающий верховую езду» (с. 114 — особенно любопытно это наблюдение для поляков, которые до сих пор танцуют мазурку), а вальс — это вообще буйство «инфернальных сил», «в каком теряются черты (?), а круги напоминают бесовские па» (с. 181)... И так далее.

Мне удивительно, что этот опус вообще издан, что он имеет и научного редактора (В.П. Океанский), и рецензентов (А.В. Лужановский, кафедра литературы Костромского университета), что издание это осуществлено «при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда»... Все это тоже показатели «переизбытка». Кроме того, это творение «предназначено студентам, аспирантам и преподавателям филологических факультетов» — бедные!..

Повторяю, об этой книге не стоило бы писать так много и с таким пафосом, если бы не два обстоятельства. Первое: я стал читать ее по обязанности. Специализированный Совет Ивановского университета попросил выступить экспертом по этой книге, поскольку автор подал ее в Совет как *докторскую диссертацию*. Неужели все-таки защитит? А потом, как водится, ему будет от-

крыта дорога на руководящие посты в университете — и он будет претендовать на ведущую роль в литературоведческой науке...

Второе обстоятельство — странное совпадение «личного» характера. Я не успел до конца дочитатьopus Трофимова — пришло печальное известие о безвременной смерти Вадима Эразмовича Вацуро, великого филолога (по гамбургскому счету — великого!) и блестящего пушкиниста. Вадим Эразмович всегда был для меня недостижимым идеалом ученого, олицетворявшего самый смысл филологии. Его статьи — изысканно-артистичные, безукоризненно выверенные, логически изящные, щепетильные в отношении к мельчайшей детали — уже при выходе осознавались филологической классикой. А докторской диссертации он так и не защитил: среди множества серьезнейших дел и замыслов все некогда было отвлекаться на эти глупости... Меня печальное известие застало как раз посередине увлекательного чтения книги Трофимова — и я испытал «двойное горе», отмеченное в известной эпиграмме Н.Ф. Щербини (1852): «Умер Гоголь наш великий // Жив и здравствует Сушков!»

Неужели на место Вацуро приходят Трофимовы? Дело не в личностях, не в личных дарованиях и даже не в претензиях. Все страшнее.

Мы переживаем «бесцензурную» эпоху, которая в «массовом» сознании была понята однозначно: сейчас *все можно*. И как-то сразу оказалось, что это «все» стало можно даже и в науке: произвольность нынешних «гуманитарных» конструкций «на злобу дня» потихоньку подменяет строгие и худо-бедно доказательные историко-литературные построения, принятые раньше. И попутно возникает новая, «наоборотная» идеология, которая сейчас, кажется, наиболее ярко проявляется именно в литературоведении. Старинные, памятные еще понятия «партийности» и «классовой позиции» подменяются лозунгами «духовности», или «софийности», или «соборности», которые уже создают новый уровень «руководства» филологическими штудиями: наука-то «необязательная»!..

И параллельно с историей литературы встает и набирает силу какая-то другая «наука», которая, вероятно, развернется уже в XXI столетии. Эта квазинаука уже сформировала и систему опорных понятий, и фразеологию, уже определилась с «отцами-основателями» — и потихоньку начинает «охоту на ведьм». Пока что эти «ведьмы» — абстрактные, вроде «дьявольского» Онегина. Но скоро они получают вполне действительные, реальные очертания. И мы с вами, наследники Вацуро, станем ее первыми жертвами — и еще долго придется ждать нового возгласа «Доколе!»...

